МОСГОРСПРАВКА МОСГОРИСПОЛКОМА
Отдел газетных вырезок
Чистопрудный бул. 2 Телефон 96-69

Вырезка из газеты ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

от 16 МАЯ 41 3

Лауреат Сталинской премии народный артист СССР Максим Дормидонтович Михайлов.

К ИТОГАМ СЕЗОНА В МОСКВЕ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

М. Д. Михайлов

ОЧЕНЬ часто в автобус кунцевской линии садится уже пожилой человек и едет за город, на старую квартиру. Он живет теперь в новом доме на улице Горького, где нет ни садика, ни огорода. За день перед каждым спектаклем — будь то «Сусанин» или «Черевички» — он запирается в своей комнате у рояля, чтоб никто не мешал повторить партию. Какое-то беспокойство точит его душу, он оставляет рояль и подходит к окну. Там — большой, огромный город, асфальт, шум улицы. Он хочет в эту минуту тишины, хочет видеть землю, сырую, пахучую. Он надевает шляпу, пальто и просит, как придет из института дочь, передать ей, что поехал в Кунцево на огород.

На старой даче он чувствует себя вольнее. Из окна видны еще не обласканный свежим листом лесок, черное поле, иссеченное дорогами, а под самым окном — разоренная прошлогодняя грядка сочится влагой поздней весны.

Он берет в сенях острую лопату и дотемна роет гряду за грядой. А то отнесет лопату на место, выйдет на волю и полным голосом сотрясет всю округу: «О скалы грозные...». Смолкнет и добродушно, с хитрецой засмеется так, что со стороны подумаешь, будто гоголевский Чуб вылез из мешка у Солохи и вот-вот лукаво запоет:

— А славную сыграл я с вами шутку...

С таким лицом, возбужденным и вдохновенным, идет он в дом к роялю, быстро пробегает всю партию Чуба или Кончака, или Сусанина, потом останавливается на время в раздумье.

Это еще не все. Что-то еще осталось, не запамятовать бы. Что было в прошлый раз?

Да, помнится, подходил за кулисами Фомич, он уж лет сорок осветителем в театре: «Максим Дормидонтович, прощения прошу, только у вас вроде не так получается «захватчиков проклятых», не все слово выходит, глотаете, вы уж не обижайтесь на старика». Ну, вот и спасибо старику, надо подчистить...

От беспокойства нет и следа, все идет так легко и на душе так звучно, будто простой труд на земле тронул в ней нежные струны и вызвал к жизни мир звуков и песен.

В жизни каждого человека бывает час, когда определяется его истинная судьба. Этот час может быть ранним или поздним, но он значит для человека больше всего прожитого дотоле.

Михайлову было 38 лет, когда он положил на свое лицо первый грим и испытал прилив творческого волнения. Он пел перед микрофоном в оперном радиотеатре.

Музыку и пение он любил всю жизнь, но час его откровения наступил лишь теперь, когда он увидел себя на пути истинного искусства, искусства для своего народа.

В Большой театр он пришел робким и застенчивым, почти сорока лет отроду. Как будто поздно в эти годы начинать актеру, даже басу. Но вот прошло только восемь лет, а он сделал уже так много, что, кажется, он наверстывал недожитое.

Когда-то первый его учитель пения в деревенской школе Константин Николаевич Поливанов сделал его солистом среди маленьких теноров. Но однажды после каникул тенор Максимка вернулся из деревни в школу, потеряв свою «иерихонскую трубу», — так нежно величали тогда его голосок.

— Ты что, курил? Пил? — спросил учитель.

— Нет.

— Куда ж ты голос девал? Иди в ряды.

Обида была невыносима, а через полгода учитель вызвал его из рядов хористов, вернул ему «солиста», но у него уже был не тенор, а бас. Учитель спас ему голос, во-время заметив переход с одного регистра на другой и во-время «обидев».

Далекий этот жизненный урок повторился на новом пути. Ему дали Зарецкого в «Онегине», и его мощный, богатый голос так зазвучал под сводами Большого театра, что многие заговорили: «Тебе бы Гремина, обижают». Тогда Михайлову это действительно показалось обидным. Но за эту «обиду» он так же благодарен театру, как и за первую — учителю. Робость и неуверенность сковывали его еще как актера, и, сервись он в первой крупной роли, трудно было бы пойти дальше.

Михайлову, поздно пришедшему в театр, пришлось очень много работать над своей театральной культурой, и постепенно он стал понимать простую истину, что нет в опере маленьких партий, а есть маленькие актеры. Когда он пел уже и Гремина в «Онегине», и Кончака в «Князе Игоре», и варяжского гостя в «Садко», ему дали сторожа в «Гугенотах» — ночью пройти с фонарем и пропеть всего-навсего: «Всем пора на отдых...». И тут, — кажется мелочь для такого большого певца, — и тут Михайлов переживал законное творческое волнение, отличающее истинного артиста.

Но такую страстную потребность слить воедино вокальную партию и сценический образ, жить на сцене истинно человеческими чувствами, далекими от наигрыша и искусственности, простыми и искренними, Михайлов ощутил, может быть, впервые в те дни и месяцы, когда он стал Иваном Сусаниным.

Артист чувствовал весь внутренний мир своей роли. Он вспомнил деревню, где вырос, видения детства, манеры русского крестьянина, богатую нашу природу. Он чувствовал, что в образе Сусанина воплощены лучшие черты русского народа — и любовь к родине, и бесконечная воля к победе, упорная воля, сокрушающая все на своем пути, и мужество простого человека, самоотверженно погибающего ради спасения отечества.

В этой роли Михайлов достиг необыкновенной простоты и естественности. Чем ближе к финалу, тем больше нарастает волнение и его и слушателей. Михайлов делал Сусанина таким, каким его характеризовал когда-то Мусоргский: «Сусанин — не мужик простой, нет: идея, легенда...». Голос народной идеи, идеи высокого патриотизма грозно звучит в лесу над ляхами: «Погибли вы, пропали, Москва спасена».

Но чем больше удавался артисту этот образ, тем больше хотелось над ним работать. В шестидесяти пяти из ста одного представления оперы ему выпало вести партию Сусанина. И каждый раз он находил в ней что-либо новое. Недавно в радиостудии Михайлов услышал граммофонные пластинки, напетые им в дни первых спектаклей «Сусанина».

— Надо бы переписать, — сказал он.

— Помилуйте, Максим Дормидонтович, — воскликнули работники студии, — они же превосходны, эти пластинки...

— Но я вам говорю, что плохо, я совсем иначе сейчас пою.

После Сусанина Михайлову предложили партию Чуба в «Черевичках». Эта несправедливо забытая, не ставившаяся более полувека опера, полная гоголевского юмора и яркой певучести Чайковского, с блеском прошла в нынешнем сезоне в филиале Большого театра.

Кажется, трудно после большой, трагической роли Сусанина браться за эту противоположную — комическую — партию. Но Михайлов взялся за нее охотно, вкладывая в работу и над этой яркой партией также много страсти и исканий.

Легко было бы в этой шутливой партии переборщить, сделать Чуба пьяненьким и глуповатым. Михайлов стремился играть Чуба по Гоголю. У него Чуб — наивный добряк, больше всего любящий покой и теплую лежанку, но не глупый, прячущий под казацкими усами хитрую усмешку. Он спел эту партию сочно, с мягким юмором.

Этот образ был новой удачей певца и артиста, и с первого же момента, как он появился на сцене, он очаровал зрителя.

Сейчас он готовит Бориса и Пимена в «Борисе Годунове».

Такие партии, музыка которых глубоко народна и душевно близка певцу, захватывают Михайлова, легки ему. От Сусанина он не устает. Есть небольшие партии, от которых он чувствует усталость, если они сопутствуют выдуманному, нежизненному образу. А вот тут нет усталости.

— Ну вот, как жизнь не утомляет, так и эта опера...

Чтобы сказать такое, надо любить жизнь всем своим сердцем и жить в том деле, которому отдал себя.

Вл. РУДНЫЙ.